



Борис ГУСМАН

Отдушина слез

(О Владимире Владимировиче Маяковском)

...Но ему не надо ни этого солнца,
ни этих лугов, ни этого весеннего поля.
Зачем солнце, зачем цветы, когда
каждый цветок напоен кровью, каждая пядь
земли не дождем смочена, а кровью...

Алексей Ремизов. «Крепость»

Как это делается, по каким железным законам исполняется, или гении невидимые — злые или добрые — нитями судьбы управляют, что одному человеку повернется земля веснами своими расцветающими, озерами в зеленых, вышитых белыми лилиями, одеждах, сине-синей ризой небес, вытканых жемчугами звезд и голосами птиц, малых и больших, и благоуханием цветов, вкрапленных в зеленый ковер лугов и полей.

И поет этот человек песни радостные, звонкие, каждой строчкой славит всю эту благодать неизбывную, в радости душевной перед солнцем жизнедатным, перед луной трепетной и кротким лампадным сиянием звезд мерцающих.

Другому же, тоже, может быть, пришедшему в мир для песен безудержных, для ликования душевного, обернется вдруг земля серыми колодцами городов своих, где хмурые люди в муках и корчах влачат по окровавленным мостовым израненные души свои, где утреннее солнце встречается солеными потоками слез из выпитых горем и туманами глаз, где души, что были «чище венецианского лазорья», покрылись черной пеленой копоты, сажи и грязи.

Или, может быть, никем это не предуказано, и нет таких законов, по которым это совершается, а просто душа поэта направляет его глаз. Что видно одному, скрыто от другого. К чему открыта душа одного, не чувствует другой. И если у одного душа

песней звонкой зацветает, смехом солнечным заливаётся, бурной кровью вскипает, то чем же виноват другой, что мукой, горем и судорогами прорванная, его душа стала отдушиной, через которую освобождает себя мир, измученный от слез.

Тяжка участь такого, рожденного с душой-отдушиной, горька доля и тяжек крест, да ведь не откажешься от него...

Душа Владимира Маяковского, напоенная невскими туманами и бульварной слякотью Москвы, повлекла его на улицы города, где в огнях кинемо родилась его песня «в чулке ажурном у кофеен», родилась она, сдавленная серыми гробами многоэтажных громад, среди «провалившихся носами», среди сестер своих, грубо покрашенных проституток, чью последнюю улыбку проглотил сырой осенний туман, среди замученных и издерганных, «изъеденных бессонницей», забывших веселую радость смеха и чарования весны; родилась среди тех, кто головы поднимает к небу, к лазурному, синему небу, только для исступленных проклятий, среди тех, да, среди тех, кто сквозь серые завесы тумана прямых проспектов и кривых закоулков города несет стоны свои и муки.

Как было не пропитаться этим ядом мучительным, как было не отравить свои строчки этими туманами и слезами, не взрыть ровную гладь их судорогами мук и страданий, как было уберечь душу свою от безумия, скажите как, вы, которые кричите на всех перекрестках о «сумасшествии» и «ненормальности», о «желтом доме» и о «винтике». Или криками этими вы хотите спасти последние крохи жалкого душевного равновесия, которое в слепоте вашей вы принимаете за единственное благо жизни?

Конечно, в равновесии пребывать куда как хорошо, а главное — спокойно, и Маяковский тоже думал послужить своими песнями «красивому богу», он тоже и, может быть, красивее других спел бы про весну и любовь, про травки и цветочки. И в душе его, разрывавшейся клочьями о «копья домов», не раз вставала скорбная мысль о возможности для поэта иной доли, иного пути, более светлого и радостного и иных песен, не таких жестоких и угловатых.

Думал, —
радостный буду.
Блестящий глазами
сяду на трон,
изнеженный телом грек.

Вон как: изнеженный телом, блестящий глазами, радостный... Чем не равновесие? Видите, и он об этом помечтовывал, но из всех закоулков серого города, этого великолепного музея

великих и крохотных гор, пришли грязные женщины с распухшими глазами и принесли поэту страшные дары — свои «слезинки, слезы и слезищи». Я помню, каким общим хохотом встретили этих женщин евнухи, жирными кучами своих тел набившие театр на первом представлении этой трагедии, а поэт испугался этих даров, этой тяжелой, крестной ноши, и, если б мог, отрекся бы он от них, исполненных такой болью и мукой, и не хохотом, не радостью, не звонкой песней встретил он их, а криком, последним криком отчаяния:

Господа!
Послушайте, —
я не могу!
Вам хорошо,
а мне с болью-то как?!

Может, кто-нибудь другой из толпы тех, кого так мило декламируют барышни на благотворительных вечерах, сказал бы пару прочувствованных, гладко прилизанных слов о «городских страданиях», несколько критиков подхватили бы и написали с десятков умных статей об «урбанизме» такого-то, а тот в сознании собственного достоинства и исполненного долга снова и еще с большей силой зачирикал бы о «соловьях и розах», о «барышнях и любви» на предмет вздыханий и томлений старых дев и прыщавых юнцов, а поэт-футурист не мог отречься и не отречься от этой боли и муки, хоть и окровавили они его душу, истерзали ранами незалечимыми, нет — еще теснее прижался он к измученной земле, еще ближе приник к ее старой, «лысеющей голове» и принял в себя ее корчи и судороги.

Я — где боль везде;
на каждой капле слезовой течи
распял себя на кресте.

Так жизнь его из радостной, солнечной мистерии превратилась в бредовую трагедию, которой сам Бог, седой и мудрый, дал такое пышное название:

«Владимир Маяковский».

До солнца ли тут, до цветов ли, когда душа истекает кровью за каждую слезинку, пролитую в тишине бессонной ночи или в гуле и грохоте суетливого дня.

«Зачем солнце, зачем цветы, когда каждый цветок напоен кровью, каждая пядь земли не дождем смочена, а кровью...»

Кровью и слезами смочена, мукой и судорогами взрыта. Вот потому-то и проклинал Маяковский всякую гармонию, всякую

красоту, проклял солнце и цветы, оплевал мечты и грустную нежность, растоптал «возвышенную» любовь и надругался над ней, как и над всякой «превыспренностью». И только ли над любовью, только ли над красотой? Ведь самому Богу, так привыкшему к сладенькому сиропцу славословий и молитв, он предложил «натащить со всех бульваров красивейших девочек» и устроить веселенькую «карусель на древе познания добра и зла». Надо же и Ему там, на небесах, хоть на старости лет, пожить, как следует... И никому прощения и никакой нежности — Маяковский твердо знает, что здесь, на этой земле, «смоченной не дождем, а кровью», уже ничего простить нельзя.

И потому он

...выжег души, где нежность растили!

«Старческой нежности» Маяковский никому не прощает. С каким прозрением он говорит о поэтах, воспевающих «барышню, любовь и цветочек под росами», о «сереньких, чирикающих, как перепел», «выкипчивающих, рифмами пиликакая, из любвей и соловьев какое-то варево». Если б мог он, то и совсем «убил бы солнце», потому что непримиримую «ненависть к дневным лучам понес он в веках», ненависть к этому солнцу, годному только разве на то, чтобы «приколоть любимым на платье» или «вставить моноклем в широко растопыренный глаз», ненависть к звездам, которых он называет «плевочками», к «дряблой, никому не нужной луне».

Вместо всего этого, затасканного, как грязный подол уличной проститутки, столь излюбленного «чирикающими» поэтами, Маяковский поднимает грозным знаменем новой красоты свою окровавленную душу, потому что в ней слились души всех раздавленных «городом — лепрозорием», и еще потому, что в ней колышется и бьется такая сгущенная красота, перед которой меркнут солнца и луны и становятся действительно годными только в качестве блестящих брошек...

Мы,
 каторжане города лепрозория,
 где золото и грязь изъязвили проказу, —
 мы чище венецианского лазорья,
 морями и солнцами омытого сразу!
 Плевать, что нет
 у Гомеров и Овидеев
 людей, как мы,
 от копоты в оспе —
 я знаю —
 Солнце померкло бы, увидев
 наших душ золотые россыпи!

Новые «мы», — и новое слово, и новая красота. Прошла и умерла красота старинных барских усадеб, дорожек, усыпанных гравием, барышень в белых кисейных платьницах, порхающих при луне и звездах под звуки Ланнеровского вальса в круглом зале с колоннами. Исчезли усадьбы, и вместо них высятся серые громады многоэтажных гробов; исчезли дорожки, и за окном, по торцовым и каменным мостовым, завывая гудками, мчатся «рыжие дьяволы» — автомобили; рассеялись, как тени при первом крике петуха, барышни в кисейных платьницах с кружевцами, и вместо них по широким тротуарам проспектов, мимо синематографов и кофеен прохаживаются угрюмо-веселые проститутки в ажурных чулках, с черными страусовыми перьями на больших, покоробившихся от дождя и тумана, шляпах...

И вместе со всем этим умерла и старая литература, можно плакать о ней, можно изредка вынуть из заветного ларца засушенные «цветы воспоминаний», но нужно твердо помнить, что она умерла и на смену ей идет новая.

Новая красота и новое слово о ней:

Я вам открою
 словами
 простыми, как мычание,
 наши новые души.

Новые души и новую красоту этих душ, которой не нужны завитушки сладких слов и рифм, они оскорбительны для нее, ей нужен новый язык; может быть, он вам покажется грубым и резким после сладкого чириканья ваших придворных поэтов, но что ж делать?

И Маяковский нашел этот язык, он рассказал нам о новой душе «словами простыми, как мычание». Целую книгу свою он назвал: «Простое, как мычание». И как душу свою новый поэт очистил от всей толщи утонченных и изысканных настроений, так же была очищена и внешняя форма выражений от всей накопившейся веками массы поэтических приемов. Вы вслушайтесь в этот своеобразный оркестр: совсем не слышно нежных мелодий струнных, переливов гобоев, кларнетов и флейт, зычно звучат медные инструменты и громче всех кричат литавры, да изредка всплескивают своими медными руками тарелки. Слово половина музыкантов ушла из оркестра, или, вернее, сам поэт разогнал их.

На широкой сцене нашего воображения под гулкую музыку этого странного оркестра разыгрывается невиданная трагедия, где неожиданно и жутко ожившие образы играют свои роли, надев маски, по указанию главного режиссера — поэта.

«На небе красный вздрагивал, околевая закат...» «Угрюмый дождь скосил глаза...» «Прижались лодки в люльках входов к сосцам железных матерей, в ушах оглохших пароходов горели серьги якорей...» «Светает, шире разверзается неба рот, ночь пьет за глотком глоток он...»

Ошеломленные грузным грохотом инструментовки Маяковского, вы перелистываете страницу за страницей этой жутко, томительно родной книжки, в которой «не слова — судороги, слипшиеся комом», и из каждого ее уголка смотрят на вас ожившие образы. Вот промелькнул «угрюмый дождь», печально скосивший глаза, а там, в углу, околевает, вздрагивая, красный закат, но и ночь недолго прожила, медленными глотками ее выпил жадный рот утра, при свете которого вы натываетесь на странное шествие: тяжело ступая (с непривычки, должно быть, а может быть, ботинки жмут?), шагает невиданное чудо — «облако в штанах».

Так причудливо, в ломанных строках Маяковского сплелись ожившие образы в один судорожный и жутко живой ком.

Изменился и ритм стиха. Где обычная плавность и размеренность? Видно, измученную душу не уложишь в мягкие качели ямбов и хореев, размеренные строчки рвутся от напряженного крика.

Через боли и муки, через корчи и судороги грядет новый человек, и вещая душа поэта уже видит его.

Звонящей болью любовь замоля,
душой
иное шествие чающий
слышу
твое земля:
«Ныне отпускаеши!»

В чайнии этого нового, настоящего человека, который будет «Бога самого милосердней и лучше», в вещем предчувствии его создает Маяковский свою вещь «Человек». Довольно говорить о чудесах и ждать их откуда-то с неба, посмотрите вокруг, посмотрите на себя...

Как же
себя мне не петь,
если весь я
сплошная невидаль,
если каждое движение мое
огромное,
необъяснимое чудо.

И дальше, как на рекламном плакате:

Небывалое чудо XX века!

Как не стыдно это чудо, это небывалое, звонко поющее чудо, втискивать в тесные рамки серенького земного существования!

Загнанный в земной загон
 влеку дневное иго я.
 А на мозгах
 Верхом
 «Закон»,
 на сердце цепь
 «Религия».

Криком, жутким криком отчаяния рвется душа Маяковского от этих цепей, вызванивающих каждый шаг, каждое движение человека.

Я в плену.
 Нет мне выкупа!
 Оковала земля окаянная.
 Я бы всех в любви моей выкупал,
 да в дома обнесен океан ее!

Поэтому-то так мучительно-близок нам Маяковский, что в прерывистых и грубых строках его чувствуется трепетная душа человека, воистину могущего в любви своей всех выкупать, сумевшего «стереть разницу между лицами своих и чужих», сумевшего открытой душой своей коснуться жизни, принять в себя ее корчи и судороги, принять в себя чужие муки и страдания, сумевшего почувствовать, как «мельчайшую пылинку живого», так и все, что бьется и мучится на этой старой «лысеющей земле», и своим судорожным словом сумевшего обласкать всякого маленького, безнадежно затерянного в гулких улицах и бульварах города, и возродить в этих крохотных душах волю к сильной и смелой грядущей жизни, где, как равный с равным, встретятся поэт и проститутка, усадебный мечтатель и уличный фланер, хранитель прогнивших традиций и дерзкий творец новых слов и понятий.

1916—1918 гг.

